

Век двадцать первый ступил тяжело:
вот он уже за чертой.
И повторяет, что золото – зло,
разве что век золотой...

Хочет забыть эту небыль и быть,
ранит своё остриё:
всё обещено, втоптанно в пыль,
и обесценено всё.

И обесточено. Холод, темно:
глядь – а идёшь по телам.
Всё обезглавлено, всем всё равно,
все одурочены в хлам.

Обезображены. Угнаны в даль
чувства, а сердце – в золе.
И опрокинутая вертикаль
дух придавила к земле.

Даже когда загорелось, горит,
век двадцать первый – в дыму –
речь бессмысленную говорит,
вторя себе самому.

ПРОСТО ЗИМА

Здесь в подземном царстве пекут алмаз, рубин, изумруд,
из небесного города реки сюда текут,
лепят снежных коней, трут на тёрке звёздный имбирь...
Ты теряешь «я», ты – сосна, коростель, снегирь!
Пред величьем Творца ты – материи лёгкий лоскут,
бисер, мизер, зеро, цифирь...

– Это просто Сибирь, дорогая, просто Сибирь!

А вот здесь – словно окаменел Тамерлан: тесна
духу лепка рельефа: ни визионерства, ни сна,
сновиденьями полного,
если б не тайный провал
меж мирами – туда, где Создатель в глаза целовал
эту землю-младенца, чтоб видела сквозь времена,
и тебя прозревал-узнавал...

– Это просто Урал, дорогая, просто Урал.

А вот здесь толпятся фигуры, как челядь в людской,
музы травятся гарью, Психея болеет тоской,
в однополном союзе сливаются лесть и лихва,
и пластмассовый вкус на губах оставляют слова...
Заблудился ли ангел в мерцанье звезды городской?
Иль напился пастух? Или шапку украли волхва?

– Это просто Москва, дорогая, просто Москва!

И когда так просторно и холодно на земле,
рвутся связи, мнутся бесы, догорают искры в золе,
а пройдёшь по городу – пустые стоят дома:
там – Андрюша умер, там – папа, там – ты сама,
но ведь шепчут они, повторяя навеселе,
аж метели подрагивает бахрама:

– Это просто зима, дорогая, просто зима!

ЛИХОЙ ЧЕЛОВЕК

Это старые зубы ломает о цепь
пёс голодный, блохаст, обуян,
это ночь купоросом окрасила степь,
где сплошной борщевик да бурьян.
Это рыщет повсюду лихой человек,
прячет нож в сапоге, в рукаве:
амалик ли, халдей ли, хазар, печенег, –
всё Антонов огонь в голове.

Он готов жечь и рушить порядок любой,
с перекошенным криками ртом...
Вот и родина Кольской надулась Губой,
ощетинясь Уральским Хребтом.
И пульсирует мощными венами вод,
сеть подземная гонит волну,
словно чует: вот-вот он ударит в живот
на Двине, на Днепре, на Дону.

И земле подо мною совсем не до сна:
я ворочаюсь, словно Кавказ,
как Сибирь угораю, ваюсь, как сосна,
так что сыплются звёзды из глаз.
И спускается плавно небесная высь,
открывается Книга из книг,
деревенской старухой шурша: «Не бойсь!
Есть у родины нашей двойник!»

Вот она – между этих и этих страниц –
все тут живы в своей новизне
и летают с небесными стаями птиц
хоть куда – к Енисею, к Десне.
Распадается цепь, зацветает бурьян,
всё кончается – бедствие, ложь.
Лишь лихой человек изнывает от ран,
напоровшись на собственный нож.

АНГЕЛ

Больной стонал и корчился в ознобе,
летел в провал и знал, что умирает,
и, как зародыш, запертый в утробе,
колени в подбородок упирал.

И, наконец, сжимая в крест нательный,
он возопил:

– Зачем Ты одного
меня оставил в этот час смертельный?
Да есть тут кто-нибудь? Иль – никого?

И вдруг, как будто голос за спиною,
шум ветра иль бегущая вода,
и слышит он:

– Я рядом. Ты со мною.
Ты не один. Но смотришь не туда!

Он оглянулся мысленно и всё же
увидел въяве, что стоит за ним
на свой иконный образ не похожий,
но явно – ангел или херувим.

Повис, как бы эфир, сгустившись тучно, –
по контуру подсвеченный предел...

И повторяет:

– Здесь я неотлучно.
Не жалуйся! Ты не туда глядел!

И в этой ветхой плотяной одежде
из мышц и кожи – небу, пустырю –
вглубь обступившей тьмы кричу:

– Я – тоже!
Прости меня! Я не туда смотрю!

ВРЕМЯ

– Неужели тебе не больно?

– Конечно, больно! А то...

Потому что время моё уходит, уже надело пальто...

Накрутило на шею шарф, голова – внутри,

отвернулось, лица не видать, идёт к двери.

Мне б его окликнуть, позвать – а не знаю, как.

Мне б его узнать, а рука – в перчатке, и сжат кулак.

Заглянуть в глазок его любопытствующий, подмигивающий: не зря! –

слюдяной голубок, нефритовый, с каплею янтаря.

И уходит оно туда, где вещи сдают за так.

Где собака зарыта, где кот наплакал, где свистнул рак.

...Я за ним с межреберным холодком

скатываюсь по лестнице колобком.

ЛЕРМОНТОВ

Небожитель Лермонтов, как поудобнее сесть, не думал –
за стихи, роман ли, – да хоть в седле иль кибитке.

На ходу писал и «Парус», и «Ангела»... Только дунул
ветерок нездешний, – с одной попытки.

Не копил ни листков, ни рукописей: в смятенье,
где попало, бывало, раскидывал, раздавал задаром...
Словно знал: не своё разбазаривает именье,
но вдохнул и – выдохнул хладом, жаром...

Для него и узы – метафорою свободы
оборачивались, и притчей сияли бездны,
и подстрочником делался к переводу
на язык Орфея лепет земли болезный.

...Так и жить бы: у каждой земной напасти
вырвать жало и угли разжечь в кадиле,
чтобы знаки рока, призванья, любви и власти
как сухие кости, покрывшись плотью, ожили.

На весу ли, на корточках, на коленке
строить всё, что рифмуется, – капители,
контрфорсы, пилястры, столбы, простенки,
тавтологии, антиномии, параллели...

На себе таскать свой космос и музыкантов,
а усталое тело, лишь ночь выпадает злая,
в световых волнах и кварках цветных, и квантах
упокоить в родной стихии, с коня слезая.

ПОСЛАНИЕ

Александрине

В широкополой шляпе с бантом
ты Крыму летнему к лицу,
и музыке, и музыкантам,
волне, и лодке, и гребцу!

Ведь здесь в любом челне отпльвшем
жив тайный компас: на Царьград!
А сделать бывшее – небывшим
Сам Ангел Крыма был бы рад.

Чтоб храбр, как лев, живуч, как тополь,
Царь Александр Третий впредь
мог, заходя в Константинополь,
тропарь в Святой Софии спеть.

Чтоб, византийский уделы
пройдя в длину и в ширину,
поднять Босфор и Дарданеллы
на черноморскую волну!

И чтобы, солнце нахлобучив,
Царьграда ликовал причал,
и чтоб пророчественный Тютчев
под сводами дворцов звучал!

Чтоб зверь из бездн на дряхлый лапах
здесь не добился ничего,
и дамы в белоснежных шляпах
не знали счастья своего!